

Алексей Макушинский

Двадцатый век

1.

Двадцатый век распадается на две половины. Первая выдалась на удивление мерзкой, кроваво-слякотной, с верденским газом, колымским ветром, освенцимским дымом, свинцовым градом, громами бомбардировок. Вторая на развалинах первой пыталась построить свое скромное благополучие. Вторая все додумывала – и все никак не могла додумать – дикие, горькие, гордые, иногда очень глупые, мысли чудовищной и блистательной первой. Первая была заносчивой и жестокой. Вторая оказалась гуманней, смиренней.

2.

Неправда, что век начался в четырнадцатом году. В четырнадцатом году он лишь заявил о себе, показал свое лицо, обнажил свой оскал. Он начался тогда, когда Ницше объявил человека подлежащим преодолению, когда Маркс превратил его в производное от экономики, когда Фрейд растворил его в бессознательном.

3.

Двадцатый век начался в девятнадцатом, может быть даже раньше.

4.

Двадцатый век – это век борьбы. Все боролись со всеми, государства, народы, политические системы, идеи, взгляды и мнения. Коммунизм боролся со всем миром, фашизм боролся с ним же. Коммунизм и весь мир, объединившись, боролись с фашизмом. Колонии боролись с наследниками Колумба. Коммунизм делал вид, что поддерживает колонии. Коммунистические колонии пытались от него отколоться.

5.

Но глубинная, но самая главная борьба оставалась скрытой от взоров – и до сих пор, может быть, остается. С тех пор, как девятнадцатый век, заканчиваясь, *отменил человека*, началась и продолжается неутрахающая борьба между *отменителями* и *сберегателями* его.

6.

Век-волкодав кидался на плечи самого, может быть, *живого* человека, в этот волкодавский (и вавилонский) век угодившего. Потому, наверное, и кидался. Потому, в конце концов, и загрыз.

7.

Это борьба *живого* и *мертвого*; она идет в двадцатом веке «на всех фронтах».

8.

«История движется борьбой», писал Ходасевич в своем невероятном некрологе на смерть Маяковского (единственном известном мне некрологе, автор которого не оплакивает, но проклинает покойника). «Однако, счастливы те возвышенные эпохи, когда над могилами недавних врагов с уважением склоняются головы и знамена. На нашу долю такого счастья не выпало. Тяжкая участь наша – бороться с врагами опасными, сильными, но недостойными... И это даже в областях, столь, казалось бы, чистых, как область поэзии». Ходасевич понял этот век, как мало кто другой его понял. Может быть, Бунин.

9.

Двадцатый век есть век нового варварства. Грубого варварства и варварства утонченного, изысканного, модного, шикарного, иронического. Грубое варварство рано или поздно начинает утонченное – уничтожать. Объявляет его «буржуазным формализмом» или, наоборот, «культур-большевизмом», клеймит во всех газетах, сжигает на площадях. Оно путает его, по неизбежной своей дурости, с культурой, втайне ему ненавистной. Между тем, утонченное варварство, уничтожаемое варварством примитивным, не перестает быть по-прежнему варварством. Преследования и надругательства не отменяют исконного их родства – революция, как известно, пожирает своих же детей, артиллерия бьет по своим.

10.

Варварство есть варварство, утонченное или грубое – все равно. Когда Блок записывал в дневнике, что гибель Титаника обрадовала его «несказанно», потому что, видите ли, «есть еще океан», думал ли он о тех несчастных, что замерзали в ледяной воде этого «океана»? Этих несчастных было полторы тысячи, но не в цифрах здесь дело. Боюсь, что не думал. Думал – абстракциями (варварство всегда ими думает). «Цивилизация» («Титаник») гибнет, «стихия» («океан») торжествует. «Несказанная», конечно же, радость.

11.

Это смешение утонченного варварства с культурой и, соответственно, противопоставление их варварству грубому, запутало всю картину, смешало все карты.

Если угодно, это одна из важнейших *подмен* двадцатого века (двадцатый век вообще век подмены, подтасовки, подделки). На самом деле, разделительные линии проходят не здесь. Не в том дело, что соцреализм пожрал, в конце концов, ревангард, а дело в том, что и ревангард, и соцреализм, каждый по своему, уничтожали культуру как таковую, ревангард – откровенно и риторически, бросая Лермонтова с корабля современности, соцреализм двулично, подло и действительно, объявляя себя борцом за эту самую, в его устах звучавшую так мерзко, культуру, на самом деле и в то же самое время убивая ее в подвалах Лубянки, на Второй речке, в цензурных объятиях.

12.

Двадцатый век был одержим современностью. Он все боялся отстать от себя самого. Все бежал за самим же собою. Наступившему варварству культура казалась устаревшей, «отжившей свой век», «несовременной», «несвоевременной». Тридцати-с-чем-то-летних Ахматову и Мандельштама в двадцатые годы в советской прессе упорно называли, если называли вообще, «стариками». Бунин? Ну, тот вообще – «девятнадцатый век». А на самом деле, все подлинное, все значительное своему времени всегда «несозвучно». Это несозвучное времени и оказывается затем самым лучшим, что было в то или иное время написано, создано. «Нет, никогда ничей я не был современник...». Настоящее – не современно.

13.

Это были вовсе не арьергардные бои отжившего прошлого с настоящим и будущим, как хотелось думать «авангарду». Это была всегдашняя, неизменная борьба настоящего, подлинного, обращенного к вечности и ведущего в будущее с ничтожной накипью современности.

14.

Он шалел от собственной дерзости, этот век. Стоял перед самим же собой, разводя руками, разинув рот. Его основное занятие – он ставит себе диагноз. Да не может этого быть! говорит двадцатый век, шалея от себя самого. А раз не может, то скоро закончится. Двадцатый век – умирающий век. Убивающий и убывающий век. «Бытие-к-смерти». «Закат Европы». «Умирание искусства». «Конец романа». «Кризис цивилизации». Вот сейчас все рухнет, вот сейчас все развалится.

15.

Не развалилось, не рухнуло, пророчества не сбылись. Его диагнозы были преувеличенны. Он судил по себе. Он носил в себе свою гибель – и принимал ее, в самоуверенности своей, за гибель цивилизации вообще. Он думал, что на нем

свет клином сошелся. (Сходилась, скорее – тьма). А свет светит по-прежнему, и тьма не объяла его.

16.

Дивясь себе, он не удивлялся ничему, но был подозрителен, этот век. Был особенно подозрителен к другим векам, другим временам. Он разговаривал – вернее, не разговаривал с ними, но выслушивал их, как психиатр слушает сумасшедшего, отыскивая *симптомы* (какие-нибудь «структуры сознания», какие-нибудь «способы познания мира», какие-нибудь, не приведи Господь, «дискурсы»). О, блаженные времена, когда Шопенгауэр мог соглашаться (или не соглашаться) с Платоном. Двадцатый век не принимал никого всерьез. С высокомерием холопа и ложной скромностью деспота он ни с кем не говорил по существу. Он все только ставил диагнозы, и себе, и другим.

17.

В русской революции все двойится, писал Бердяев. В двадцатом веке двойится тоже. Где кончается *диагноз* и где начинается *симптом*, не разобрать, не решить. «Я покажу вам болезнь века». – «Спасибо. Ты сам же эта болезнь и есть». «Театр абсурда», к примеру – диагноз или симптом? Кафка? Скорее все же симптом.

18.

Знаменитая фраза, приписываемая Дельвигу («закон Дельвига», как говорил Ходасевич) – «не должно ухабистую дорогу изображать ухабистыми стихами» – применима не только, конечно, к стихам. Дороги были в двадцатом веке куда как ухабисты, все кареты сломались на этих дорогах, пассажиры, если не погибли под лошадьми, не умерли от тряски и скуки, выходили из экипажей несчастные, помятые, желтые. Ухабистых стихов тоже было немало.

19.

Все разваливалось в злосчастном этом столетии, отмененный человек разлетался на куски и ошметки. На живописных полотнах ошметков тоже было достаточно.

20.

В 1914 году еще молодые тогда Бердяев и Булгаков (Сергей) побывали на выставке Пикассо в галерее Щукина. То, что они увидели, поняли и сказали, следовало бы поставить эпиграфом к начинавшемуся столетию. «Труп красоты», назвал свой отчет и *ответ* Булгаков. Бердяев говорил о «распластовании», о «развоплощении», об исчезновении человеческого образа в «космических вихрях». Кто их услышал? «Век» услышать их, конечно, не мог, век сам одержим был «распластованием», «развоплощением». Век и был «космическими вихрями», чем же еще?

21.

Кто-то все же услышал. Не зря так часто ссылаются на Бердяева Ханс Зедльмайр в своей книге «Потеря середины», одной из умнейших книг двадцатого века. О «дегуманизации» искусства идет в ней речь, о погружении в бездну неорганического, в хаос и ночь, о подмене живого неживым, об отрицании иерархий, об обращении к низшему, о спекуляции на обращении к низшему. Голоса в пустыне? Конечно. Кажется, что двадцатый век победил.

22.

Это только так кажется. Его поражение заложено в нем самом.

23.

В юности, помнится, поразила меня фраза из автобиографического отчета Томаса Манна о создании «Доктора Фаустуса» («Роман одного романа»). Объясняя, почему он ввел в роман рассказчика (Серенуса Цейтблома), Томас Манн пишет: «Развязать демонизм типично недемоническими средствами, поручить его изображение гуманно-чистой, простой душе, одержимой любовью и страхом...». На то Томас Манн – Томас Манн, один из немногих, кто стремился поставить *диагноз*, не превращая его в *симптом*. Это вопрос принципиальный, принципиальнейший... Можно, и даже должно, говорить о демоническом, но не следует давать ему самому высказаться, сказаться, *случиться*. «Я скажу — о нем; я не позволю ему — явиться, самому сказать о себе», так писал я в моем собственном скромном прозаическом опыте, опусе, еще в конце того века.

24.

Он *хотел* смерти, этот век, вот в чем дело. «Танатос» или не «танатос», уж я не знаю, но он хотел смерти, и все дело в этом. Ему *нравилось* механическое, неживое, железо-бетонное. «Всякий похож на машину», говорил Энди Ворхол, один из мелких, но характерных бесов этого века. Даже писание стихов – живейшее из живых дел – пытался он превратить во что-то механическое, в создание железо-бетонных конструкций (Маяковский, конечно; не он один). Очевидно, есть что-то в человеке, что радуется стеклянно-алюминиевому безличию современности, пластиковой еде, аммиачным напиткам. Почему-то же ходят люди в «Макдональдс». Знают ведь, что отравы, а ходят.

25.

Подмена живого неживым, структурой, конструкцией. Влечение к неорганическому, каменному, железному. Живой литературы нет, говорил формализм, есть только «прием». Ничего живого нет вообще, говорил структурализм, есть только «структура». Потому двадцатому веку так хотелось превратить гуманитарные науки в точные. Заменить живое биение живой жизни подсчетом разнообразных

«синтагм» («фонем», «морфем»...). Заменить мечту, страсть и счастье – анализом, схемой, терминологией. Ему казалось, что это мечта о научности, сциентизм. Он ошибался. Это была мечта о конце света, о прекращении жизни.

26.

Избавление. Смерть – избавление. Исчезновение личности – вот что важно и нужно, все прочее – примечания. Освобождение от груза гуманности, от тягот человеческого существования, от обязанностей, накладываемых на человека невероятным его, по Паскалю, положением между зверем и ангелом, его предстоянием Богу... Что ж удивительного, если небезызвестный Мишель Фуко в предисловии к своему небезызвестному опусу «Слова и вещи» прямо так и пишет, что его, Фуко, «утешает» и приносит ему «глубокое успокоение мысль о том, что человек – всего лишь недавнее изобретение, образование, которому нет и двух веков, малый холмик в поле нашего знания, и что он исчезнет, как только оно примет новую форму». Этот «холмик» в оригинале, скорее, «складка», *un simple pli dans notre savoir. Un pli...* Пли! говорят, в сущности, все Фуко этого мира.

27.

Он хотел, еще раз, «созвучного времени», то есть себе самому. Он любил, как Евгений Онегин, романы, «в которых отразился век», то есть он сам, вновь и вновь, «и современный человек изображен довольно верно...». С его, как мы помним, «безнравственной душой, себялюбивой и сухой» и с его же «озлобленном умом, кипящим в действии пустом». А у «современного человека» только такая душа и бывает, только такой ум и возможен (неважно, в каком веке, в девятнадцатом или в двадцатом). *Не* себялюбивое и *не* безнравственное, *не* озлобленное, *не* сухое и *не* пустое – все это (как все «добродетели», все «ценности») *не современно*, не «из этого времени», вообще, может быть, не из времени, вообще не *отсюда*. И подлинное искусство, скажем это еще раз и со всею решительностью, своему времени никогда не созвучно. Искусство – перпендикуляр, составленный к времени. Никакого времени оно, по определению, не выражает. Искусство, в подлинной глубине своей, вообще ничего не «выражает», не «отражает», не «изображает» и не «отображает». Искусство – *сбывается*. Искусство есть – *свершение смысла*, и более ничего.

28.

Потому, может быть, самое подлинное лежит не на «магистральной линии века», но в решительной стороне от нее. Вот это не на магистральной линии лежащее и есть настоящий, лучший двадцатый век. Двадцатый век не сводим к модернизму и производным от одного измам. Двадцатый век не равняется «двадцатому веку».

29.

Но все двоится (еще раз). Борьба живого и мертвого? Созидающего и уничтожающего начал? Да, конечно. Но борьба эта идет не только между людьми, она идет в самих людях; «поле битвы – сердца людей», как писал Достоевский. Потому все так зыбко, неоднозначно, запутано. Потому каждый конкретный случай требует отдельного разговора. Конкретное всегда сложнее, а значит – интересней, абстрактного. Можно, конечно, видеть в Пикассо один лишь «труп красоты», но это значит – не видеть в нем ее, красоты, новой, таинственной жизни, не замечать, что и у Пикассо были разные периоды, разные стили. Однако и обратное верно: не видеть «трупа» значит в двадцатом веке ничего не понять, в его бездны не заглянуть, в его природе не разобраться.

30.

Жажда смерти и – молодость. Это подростковая жажда смерти, мальчишеское влечение к небытию. Двадцатый век был вечный подросток. Девятнадцатый был муж и отец семейства, обремененный ответственностью и долгами. Восемнадцатый был легкомысленный вельможа в летах. Семнадцатый был герой и воин, открыватель мира, математик и богослов. Двадцатый так и не вырос. Его жажда чистоты и точности, «абсолютной живописи» и «чистой поэзии», есть мальчишеская боязнь жизни, более ничего. Ему хотелось отменить всю эту взрослую, сложную, непонятную ему жизнь, заменить ее чем-то осязаемым и простым, разложить на составные части, «структуры», «кубы» и «плоскости», разъять как труп – и тем самым подчинить себе, сделать управляемой, подвластной, понятной. Когда это не удавалось, а это никогда в полной мере не удавалось, он впадал в ярость, столь же глупую, как и все прочие его проявления. Он начинал глумиться над жизнью, показывать ей язык, скандалить, буяннить. Молодость вообще беспощадна.

31.

Не сумев повзрослеть, он превратился в инфантильного старичка. Старичка, повторяющего свои детские шалости. Сколько раз повторялось все это, и стихи без знаков препинания, и раскуроченные слова, и содержимое помойного ведра на холсте, и «дыр, бул, щыл», и желтая кофта, и примитивные скандалы, и убогий эпатаж, и бессмысленная бравада. В начале века все было испробовано – и затем тупо, до тошноты, повторялось. Двадцатый век – пробуксовывал. Он пытался бежать всех быстрее – и оставался на месте, буксовал на все той же размытой дороге.

32.

А зачем ему было взрослеть, когда появлялись все новые и новые полуобразованные потребители его выходок, вновь и вновь, в каждом поколении, рукопле-

скавшие все одному и тому же «последнему слову искусства». Двадцатый век, как известно, массовый век, век «восстания масс». Восставшие массы, выходя из девственного своего состояния, попадают на все тот же ярмарочный обман, покупаются на все те же балаганные трюки. Авангард – оборотная сторона маскультуры, вот и весь его нехитрый секрет.

33.

Когда-то Пушкин говорил о «поверке воображенья рассудком» – понимая, что Музы и разум «здравствуют» всегда вместе, через запятую в одном предложении. Двадцатый век понимание это утратил. Когда-то Мандельштам, подводя итоги девятнадцатому столетию, призывал не бояться рационализма, надвигающемуся вавилонскому мраку, египетскому новому веку, «огромному и жестоко-выйному», иррациональному «корню из двух» призывал противопоставить разум энциклопедистов – «священный огонь Прометея». Двадцатый век призывам этим не внял. И не в том дело, конечно, что не вняли им истинные создатели двадцатого века, строители египетских и ассирийских империй, с этих и взятки гладки, но не вняли им строители *идеального двадцатого века*, его идеологи, его теоретики. Вот это и есть то «предательство интеллектуалов», о котором говорил когда-то, в пророческой своей книге, Жюльен Бенда (кто читает ее теперь?). А между тем, «сон разума порождает чудовищ», *el sueño de la razon produce monstruos*, как подписал под своими монстрами Гойя. Среди монстров двадцатый век и прошел, чудовища и были властителями его.

34.

Того больше – когда во второй половине века *деятели*, по крайней мере на Западе, да по-своему, уж как сумели, и в России тоже, *опомнились*, извлекли уроки из ужасов первой его половины, перестали посылать своих граждан в лагеря и в окопы, но вместо этого занялись построением более или менее сносной, свободной и человеческой жизни (в России не очень свободной и не очень гуманной, конечно, но ведь не сравнимой же все-таки с предшествовавшим ей адом) – идеологи не опомнились вовсе, «магистральная линия» мысли осталась прежней, голос разума звучал в стороне от нее.

35.

Почему это все случилось? Потому что разум перестал быть Божественным Разумом.

36.

Как это вообще могло случиться? Как мог *такой* век случиться? Как угораздило человечество забрести – в такой век? Вопросы, на которые вряд ли кто-то когда-то даст окончательный ответ. Но все-таки, все-таки... Ответим так: двадцатый

век (начавшийся в девятнадцатом, а то и раньше) был веком бунтующим. Двадцатый век и был (подростковым, мальчишеским, бессмысленным и беспощадным) бунтом против естественного (или, для тех, кто верит, Божественного) *порядка вещей*. Бунт против порядка вещей – вот формула двадцатого века. Общество? Общество никуда не годится. Смести его к чертям собачьим, на свалку истории, на его месте, товарищи, мы построим, неужели ж не построим? конечно, построим наш новый прекрасный мир. Вот тогда заживем... История? История отменяется, история была предысторией, вот сейчас начнется настоящая история, История с большой буквы. Человек? Ну, о человеке и говорить не приходится, человек это ошибка природы, подавайте нам «нового человека», прекрасного человека, стальные руки-крылья, белокурую бестию. Да и сама природа какая-то, прямо скажем, неправильная, мы ее всю переделаем, оросим пустыни, осушим болота, скрестим яблоко с грушей. Искусство? Искусство должно быть совсем другое, это уж ясно, искусство должно преображать мир, быть «теургией», соборным действием, коллективным психозом, служить народу, прославлять арийскую расу. Язык? Отменить его. Заменить на эсперанто или на заумь, на «крылышка золотописьмом» и «смеёво, смеёво». Вот тогда будет здорово, вот тут-то «председатель земного шара» и покажет всем, где раки зимуют. А если не удастся создать мир новый, прекрасный, *наш*, так попробуем хоть разломать этот старый, чужой и взрослый, как-нибудь его, к примеру, поджечь – с «мировым пожаром в крови» что ж еще и делать-то? – как-нибудь, что ли, взорвать. Не получилось и это? Не унывайте, друзья, товарищи, соратники в борьбе с живой жизнью. Не удалось уничтожить, сжечь, взорвать, погубить, так можно ведь, на худой конец, *посмеяться*, можно хоть высмеять, надругаться и поглумиться, изувечить иронией, раскурочить насмешкой, поездить по миру с буддистскими, якобы, завываниями на слова этого, как его, Пушкина, «унизить высокое, оплевать дорогое».

37.

Злосчастный век сей заканчивался как фарс («постмодернизм» и проч.) Закончился ли, наконец? Этого мы не знаем.

38.

Закончился он или нет, ему – пора заканчиваться, злосчастному этому веку. Не сказать ли, что пора заканчивать – его, кончать – с ним? Ведь мы – выжили, мы, вот в этом 2008 году живущие на земле, двадцатый век пережили, ну и – Бог с ним. «Пора заканчивать злосчастный этот век...» Пора заканчивать этот век, пора уходить из-под власти его оценок, от обаяния его кумиров. Он создал свой пантеон, в котором нам нечего делать. Другие, дальние, времена снимаются со своих мест и подходят к нам вплотную. Их голоса нам нужнее, их истины для грядущего плодотворней.